

Джордж  
Оруэлл



The BEST

Славно, славно мы развились



XX век – The Best

Джордж Оруэлл

**Славно, славно мы развились**

«Издательство АСТ»

1930-1948

УДК 821.111-4  
ББК 84(4Вел)-44

## **Оруэлл Д.**

Славно, славно мы резвились / Д. Оруэлл — «Издательство АСТ», 1930-1948 — (XX век – The Best)

ISBN 978-5-17-104842-6

Оруэлл, будучи одним из самых ярких и неоднозначных писателей XX века, боролся со злободневными вопросами по-своему – с помощью пера и бумаги. В сборник включены его критические размышления на самые разные темы – от современной литературы и кино до поэтики и политики. Заглавное же место занимает автобиографическое эссе «Славно, славно мы резвились», в котором Оруэлл со всей откровенностью описывает непростой этап взросления и без прикрас рассказывает о своей учебе в школе Святого Киприана, язвительно осуждая лицемерную систему эдвардианского образования.

УДК 821.111-4  
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-104842-6

© Оруэлл Д., 1930-1948  
© Издательство АСТ, 1930-1948

# Содержание

Славно, славно мы резвились	6
Конец ознакомительного фрагмента.	19

**Джордж Оруэлл**  
**Славно, славно мы резвились**  
*Сборник*

George Orwell

Such, Such Were the Joys and Other Essays

© George Orwell, 1930,1935,1936,1938,1940–1948

© Перевод, текст. В. Домитеева, 2017

© Перевод, текст. Н. Анастасьев, 2018

© Перевод, стихи. Н. Эристави, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2019

\* \* \*

## Славно, славно мы резвились

12

### 1

Вскоре после приезда в школу Св. Киприана (не сразу, а пару недель спустя, уже привыкнув вроде к школьному регламенту) я начал писаться ночами. Мне было восемь лет, так что вернулась беда минимум четырехлетней давности. Сегодня ночное недержание при подобных обстоятельствах видится следствием естественным – нормальная реакция ребенка, которого, вырвав из дома, воткнули в чуждую среду. Но в ту эпоху это считалось мерзким преступлением, злонамеренным и подлежащим исправлению путем порки. И меня-то не требовалось убеждать в преступности деяния. Ночь за ночью я молился с жаром, дотоле мне неведомым: «Господи, прошу, не дай описаться! Господи, молю тебя, пожалуйста!..» – однако на удивление бесплодно. В иные ночи это происходило, в иные – нет. Ни воля, ни сознание не влияли. Собственно, сам ты не участвовал: просто наутро просыпался и обнаруживал свою постель насквозь мокрой.

После второго-третьего случая меня предупредили, что в следующий раз накажут, причем уведомление я получил довольно любопытным образом. Однажды в полдник, под конец общего чаепития, восседавшая во главе одного из столов жена директора миссис Уилкс беседовала с дамой, о которой я не знал ничего, кроме того, что леди посетила нашу школу. Пугающего вида дама, мужеподобная и в амазонке (или в том, что я принимал за амазонку). Я уже выходил из комнаты, когда миссис Уилкс подозвала меня, словно желая представить гостью.

Миссис Уилкс имела прозвище Флип<sup>3</sup>, так я и буду ее называть, ибо так она значится в моей памяти. (Официально мы ее величали «мдэм» – искаженное устами школьников «мадам», как следовало обращаться к женам заведующих пансионами.) Коренастая плечистая женщина с тугими красными щеками, приплюснутой макушкой и блестящими из пещеры под мощным выступом бровей глазами судебного обвинителя, Флип обычно тщила изображать добродушие компанейски мужского тона («веселей, парни!» и т. п.), но и в этом сердечном общении взгляд ее не терял бдительной неприязни. Даже не числя себя виноватым, трудно было смотреть ей в лицо без ощущения своей вины.

– Вот мальчик, – сообщила она странной леди, – который каждую ночь мочится в кровати. И знаешь, что я сделаю, если ты снова намочишь постель? – добавила она, повернувшись ко мне. – Дам задание команде шестых тебя отлупцевать.

– Да уж, придется! – потрясенно ахнув, воскликнула странная леди.

И здесь произошла одна из диких, бредовых путаниц, обычных в детской повседневности. «Командой шестых» в школе именовалась группа старшеклассников «с характером», а стало быть, с правами колотить мелюзгу. Я не подозревал еще об их существовании и с перепугу вместо «команда шестых» услышал «мадам Шестых», отнеся это к странной даме, сочтя ее именем. Имя невероятное, но дети в таких вещах не разбираются. Представилось, что леди и есть тот, кому поручат меня выпороть. Показалось вполне правдоподобным, что миссию выполнит случайная гостья, со школой никак не связанная. «Мадам Шестых» увиделась суровой ревнительницей дисциплины, любительницей избивать людей (наружность леди чем-то

---

<sup>1</sup> © Перевод В. Домитеева, 2017.

<sup>2</sup> В заглавии автор использовал строчку стихотворения «Звонкий луг» из «Песен невинности» Уильяма Блейка. – *Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. перев.*

<sup>3</sup> Звукоподражательное слово типа «хлоп!», «шлеп!».

подтверждала этот образ), и вмиг возникла жуткая картина ее прибытия на казнь в полном боевом облачении для верховой езды, с хлыстом. По сей день изнемогаю от стыда, вспомнив себя стоящим перед теми дамами маленьким круглолицым мальчиком в коротких вельветовых штанишках. Я онемел. Я чувствовал, что впереди смерть под хлыстом «мадам Шестых». Но доминировали не страх, не обида – позорнейший позор, поскольку еще одному, и притом женщине, стало известно о моей гнусной преступности.

Уже не помню, как я выяснил, что к поркам «мадам Шестых» не причастна. Не помню, ближайшей ночью или чуть позже я вновь описался, только случилось бедствие довольно скоро. О отчаяние, о горечь жестокой несправедливости – после стольких молитв и решительных намерений снова проснуться в липкой луже! И никакой возможности сокрытия. Угрюмая монументальная матрона, звали ее Маргарет, явилась в дортуар специально для инспекции моей кровати. Осмотрев простыни, она разогнулась, и громовым раскатом прозвучала страшная фраза:

– С РАПОРТОМ после завтрака к директору!

Я пишу РАПОРТОМ крупными буквами, как отпечаталось тогда в моем мозгу. И сколько раз мне потом приходилось слышать это в стенах Киприана. И крайне редко это означало что-либо, кроме побоев. Зловещие слова гремели глухой барабанной дробью, формулой смертного приговора.

Когда я покорно явился рапортовать, в комнате перед директорским кабинетом Флип возилась с бумагами за длинным полированным столом. Зловещий взгляд цепко обшарил меня.

Самбо<sup>4</sup>, мужчина некрупный, но шаркавший тяжелой поступью, выглядел как-то несуразно с его сутулой спиной и щекастой физиономией разбухшего, бодро настроенного младенца. Он знал, конечно, зачем я пожаловал, уже достал из шкафа стек с резной костяной рукояткой, но частью наказания полагалось самому огласить свою провинность. Я огласил, директор произнес краткую патетичную нотацию, после чего схватил меня за шкуру, скрутил и начал хлестать стеклом. У него был обычай продолжать внушения в процессе порки, помнится его «скверный мальчишка» в такт ударам. Битье же оказалось не слишком болезненным (видимо, ради первого раза наставник бил вполсилы), и вышел я значительно повеселевшим. Безболезненность казни отзывалась победой, частично смывшей позор ночного недержания. Я даже имел неосторожность разулыбаться во весь рот. Кучка младших учеников толпилась за дверью в коридоре.

– Вдули тебя?

– А мне не больно! – гордо заявил я.

Флип услышала. Вмиг раздался ее крик:

– Поди сюда! Вернись сию секунду! Что ты сказал?

– Я сказал... что не больно... – пролепетал я.

– Смеешь дерзить? Так-то ты понял свой урок? Ну-ка иди ЕЩЕ РАЗ С РАПОРТОМ!

На этот раз Самбо мне всыпал основательно. Хлестал, наполнив меня изумленным ужасом, долго – примерно пять минут, пока стек не сломался. Костяная рукоятка отлетела через всю комнату.

– Вон до чего довел! Сломал! – ярился Самбо, сжимая в кулаке обломок стека.

Я упал на стул и захныкал. По-моему, то был единственный за все юные годы случай, когда от порки у меня катились слезы, и, как ни странно, плач был не от боли. Повторное битье тоже почти не вызвало болевых ощущений. Вероятно, испуг и стыд сработали анестезией. Ревел же я, отчасти уловив некие ожидания моих слез, отчасти в честном покаянии, а более всего из-за сугубо детской глубинной горести, сущность которой выразить нелегко: чув-

---

<sup>4</sup> Кличка, означающая «негритос».

ство беспомощной, пустынной отъединенности – роковой изоляции не просто в злобном мире, но во вселенной зла и блага, где правила-то есть, да у тебя нет возможности их исполнять.

Я знал касательно ночного недержания: а) оно нечестиво, б) от меня не зависит. Второй пункт я усвоил на опыте, первый – не подвергал сомнению. Значит, возможно совершить грех, даже его не сознавая, не желая и не имея способа предотвратить. То есть не обязательно ты творишь грех – бывает, грех как-то сам случается с тобой. Не стану утверждать, что мысль сверкнула абсолютной новизной под свист директорской плетки: по-видимому, проблески мелькали еще в домашней обстановке, в очень раннем и недостаточно счастливым детстве. Так или эдак, сделан был важнейший вывод из детской практики: живу я в мире, где быть правильным, хорошим при всем старании не получится. Двойная порка стала поворотом, за которым четко предстал суровый климат территорий, куда меня закинуло. Жизнь оказалась страшнее, я – хуже, чем мне мерещилось. И я сидел на краешке стула, хныча, раскиснув до предела, окрики Самбо не могли меня поднять. Никогда прежде мне не доводилось почувствовать себя столь виноватым, слабым и убогим.

Воспоминания о событиях тускнеют по мере давности. Вторжение новых волнующих ситуаций неизбежно теснит старые впечатления. В двадцать лет я мог бы изложить хронику школьных дней с точностью, совершенно недоступной мне сегодня. А с другой стороны, иногда память обостряется как раз на расстоянии многих лет, поскольку смотришь свежим взглядом и способен разглядеть нечто, прежде не привлекавшее внимание. Вот два момента, которые я как бы вспомнил, которые мне раньше не казались важными или интересными.

Во-первых, причину вторичной порки я счел достаточной и справедливой. Получить после порки еще одну, и посильней, за то, что имел глупость выхваляться равнодушием к наказанию, – что естественней? Боги ревнивы, и, когда вам повезло, нечего это демонстрировать.

Во-вторых, я безоговорочно признал свою преступную вину за сломанный о мою спину стек. Помнится, как при виде упавшей на ковер резной костяной рукоятки я ощутил себя невежей-олухом, сгубившим драгоценную вещь. Да, это я ее сломал – Самбо так крикнул мне, и я был с ним согласен. И то признание себя виновным лет тридцать тихо пролежало на дне памяти.

Многовато уже про мое детское писанье в постели. Но еще примечательный штрих. Писаться-то по ночам я перестал. Ну, разок потом, может, и случилось, и опять хорошенько мне досталось, однако же беда ушла. Так что, возможно, варварский метод результативен, хотя уж очень, очень дорого обходится.

## 2

Школа Св. Киприана, будучи заведением престижным и недешевым, всячески стремилась увеличить свой престиж (и плату за учение, надо думать). Закрытая снобистская школа, она имела особые связи с Харроу, а в мое время все чаще удавалось переправлять выпускников и в Итон<sup>5</sup>. Большинство учеников являлись сынками богатых родителей, не то чтобы аристократов, а богатеев из тех, что обитают в шикарных виллах Борнмута, Ричмонда<sup>6</sup>, имеют дворцовых и лимузины, но не поместья. Было среди нас несколько экзотических персон: мальчики из Южной Америки – чада аргентинских мясных баронов, парочка россиян, даже сиамский принц или тот, кого экспонировали в звании принца.

---

<sup>5</sup> В Итонском, самом знаменитом колледже Великобритании, по традиции обучаются наследники королевского престола, почти столь же авторитетны упоминаемые в тексте старинные колледжи Харроу, Веллингтон, Винчестер, примыкающий к этому списку колледж в Аппингеме.

<sup>6</sup> Курортные города на южном побережье Англии.

Амбиции Самбо утолялись по двум направлениям: привлечение отпрысков титулованных семейств и натаскивание школяров на выигрыш стипендий для учебы в самых элитных колледжах вплоть до Итона. Тут Самбо не ленился – при мне заполучил двоих потомков настоящей английской знати. Запомнился один из них: чахлый заморыш, белесенький, подслеповатый, с длинным сопливым носом, на кончике которого дрожала капля. В светских беседах Самбо никогда не забывал упомянуть титулы своих знатных учеников и поначалу даже к ним самим адресовался «лорд Такой-то». Излишне упоминать, что к их особам всегда умело привлекалось внимание гостей на показах дивных школьных красот. Помнится также эпизод: несчастный белесый дохлячок поперхнулся за ужином, поток соплей хлынул прямо в тарелку – жуть! Любого другого, обзвав свиненышом, немедленно бы выставили вон. Но Флип и Самбо только обменялись улыбками типа: «Ах, дети есть дети!»

К очень богатым мальчикам весьма откровенно проявлялось благоволение. В закрытых школах еще веяло духом викторианских «частных академий», и, когда я читал у Теккерея о тех старинных заведениях с учениками «на особом положении», многое показалось мне знакомым. Богатым мальчикам между завтраком и ленчем давали молоко с печеньем, им раза два в неделю полагались уроки верховой езды, Флип матерински опекала их и ласково звала по имени, а главное, их не пороли никогда. Сомневаюсь, чтобы, кроме южноамериканцев, чьих далеких заокеанских родителей можно было не опасаться, наш директор когда-нибудь решился высечь ученика, отец которого имел больше двух тысяч годовых. Порой, однако, Самбо шел на финансовые жертвы во имя «престижа» школы. Время от времени он соглашался по льготному, значительно сниженному тарифу взять мальчика, в котором брезжил шанс выиграть стипендию благородного колледжа. Именно так я и попал в стены Киприана, по-другому моим родителям не потянуть бы тамошних расценок<sup>7</sup>.

Свою функцию ученика с мизерной оплатой я долго не осознавал. Лишь на четвертый год, мне было уже одиннадцать, Самбо и Флип вправили мне мозги. В начальных классах меня протерли на обычных учебных жерновах, затем, когда пошла долбежка греческого языка (латынь изучалась с восьми лет, греческий – с десяти), перевели в группу вероятных стипендиатов – постигать филологическую классику под руководством самого директора. Тут года два-три тебя, словно гуся к Рождеству, активно и расчетливо напичкивали знаниями. И что за знания! Само по себе нехорошо, если вся будущность способного подростка зависит от оценок в конкурсе, но стократ хуже, когда подготовка для Итона, Винчестера ведется исключительно ради оценки. Нас в Киприане неприкрыто обучали хитрым трюкам. Учили тем фокусам, которые в перспективе могли бы впечатлить экспертов, убедить их в твоей гигантской (фиктивной, разумеется) учености, а лишним голову тебе не забивали. Предметы с позиции грядущей экспертизы малоценные, вроде какой-нибудь географии, почти игнорировались. Математикой, если тебя натаскивали на «классику», тоже пренебрегали, интерес к естественным наукам вообще презирался, и даже рекомендации по внеклассному чтению давались с прицелом на успехи в «английском письменном». Но и главные дисциплины, латынь и греческий, преподавались специфически – для показухи. Мы никогда, например, не прочли ни единого полного текста античных авторов, только короткие отрывки, выбранные потому, что их вероятнее всего могли предложить экзаменаторы на испытаниях по «чтению с листа». Чуть не весь последний тренировочный год мы усердно изучали работы уже состоявшихся стипендиатов. У Самбо имелись кипы этих работ, заслуживших одобрение высочайших благородных колледжей.

Но возмутительней всего велось преподавание истории.

---

<sup>7</sup> По словам Оруэлла, за него платили ровно половину суммы, взимаемой в школе Св. Киприана.

Существовала в те годы чушь под названием «Историческая премия Харроу», в соревновании за которую сражались многие школы. Наша, Св. Киприана, традиционно брала приз<sup>8</sup>, и как иначе, если мы вызубривали все ответы на вопросы, неизменные от основания Харроу и число коих отнюдь не было бесконечным. Довольно идиотские вопросы, на которые требовалось выстреливать мгновенным залпом. Кто ограбил индийских княгинь? Кому отрубили голову в лодке? Кто застиг вигов за купанием и украл их одежду? На таком уровне преподносилась нам история. Бессвязный набор фактов: неведомых и весьма слабо проясненных учителем событий с подвязанными к ним звонкими фразами. Дизраэли установил почетный мир – Клайв был поражен его выдержкой – Питт призвал Новый Свет восстановить добрые отношения со Старым... И конечно же даты, и техника запоминания. (Известно ли вам, например, что речение «Старый болван лев норовит у мыши стащить трубку, хочет хозяин этот любую букашку ткнуть башмаком» начальными буквами шифрует места сражений в войне Алой и Белой розы<sup>9</sup>) Флип, специалистка по вершинам исторического процесса, упивалась подобными штучками. Памятны наши вакханалии, когда сидевшие в классе мальчишки подпрыгивали от нетерпения выкрикнуть правильный ответ, не испытывая при этом ни малейшего интереса к покрытому тайной смыслу называемых событий.

– 1587?

– Варфоломеевская ночь!

– 1707?

– Смерть падишаха Аурангзеба!

– 1713?

– Утрехтский договор!

– 1773?

– Бостонское чаепитие!

– 1520?

Со всех скамей: «О, мдэм, пожалуйста, меня спросите!.. Мдэм, можно я скажу?.. Меня, меня, пожалуйста!..»

– Ну? 1520?

– Долина золотой парчи!

И т. д.

На истории и прочих второстепенных уроках мы неплохо проводили время. Зато на классике потели вовсю. Оглядываясь назад, я убеждаюсь, что никогда потом так тяжело не трудился, хотя тогда усилия казались далеко не стоящими одобрения. Мы сидели вокруг длинного полированного стола из какой-то очень светлой, очень ценной древесины, а Самбо нас ругал, терзал, подхлестывал, порой вышучивал, крайне редко хвалил – тербил и тербил наши мозги, поддерживая нужный градус концентрации, подобно тому, как засыпающего человека иголками принуждают бодрствовать.

– Трудись, лодырь! Работай, трутень бестолковый! Насквозь бездельник. Обьедаешься ты, вот что. В столовой лопать как волк, а сюда подремать? Давай-давай, включайся! Ничего не соображаешь. Мозгами надо шевелить!

Самбо стучал по нашим лбам своим карандашом в серебряном футляре (мне этот карандаш запомнился огромным, размером с банан, но он действительно годился здоровенные шишки набивать) или драл за виски, а то нагнется, и кулаком по щиколотке. Случались дни, когда все шло вкривь и вкось, и тогда следовало: «Ясно! Я понял, чего ты добиваешься. Ладно, оболтус, вставай, ступай в кабинет». И в кабинете вжик-вжик-вжик, и возвращаешься испо-

---

<sup>8</sup> Этот приз значит и в перечне индивидуальных школьных успехов Оруэлла.

<sup>9</sup> Имеются в виду сражения: Сент-Олбанс, Блор Хит, Ладфорд Бридж, Нортхэмптон, Уэйкфилд, Мортимерс Кросс, Сент-Олбанс (вторично), Таунтон, Хеджли Мур, Хексхэм, Эджкот, Лузкот филд, Барнет, Тьюксбери, Босворт, Стоук.

лосованный до крови, со жгучей болью – вместо охотничьего стека Самбо завел себе более продуктивную гибкую трость из ротанга, – и вновь садишься работать. Происходило подобное не так уж часто, но не раз в мои дни ученик, получивший приговор на середине латинской цитаты, уходил для порки и, вернувшись, дописывал начатый фрагмент, и ничего. Напрасно полагают, что метод порки не работает. Отлично он работает по специальному назначению. Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. Сами ребята верили в эффективность метода. Был у нас парнишка, Бичем, мозгами не удался, но, видимо, остро нуждался в стипендии. Самбо хлестал его так, что конь бы рухнул. Бичем ездил экзаменоваться в Аппингем, приехал обратно с сознанием явного провала, через пару дней опять был жестко выпорот за нерадивость. «Эх, вот перед экзаменом-то меня не высекли!» – горько сетовал Бичем. Резюме звучало не слишком достойно, но я паренька понимал.

Тренировали кандидатов в стипендиаты по-разному. Сынков богачей, сполна вносящих плату, Самбо погонял отеческим манером, шутиливо тыча карандашом под ребра, изредка постукивая по лбу, но за волосы не таскал и не порол. Страдали умники из бедных. Их мозги были золотой жилой глубокого залегания, тут золотишко добывалось способом выколачивания. Задолго до того как мне открылась финансовая специфика моего положения у Самбо, я ощутил, что стою ниже других ребят. Школяры делились на три касты: высшее меньшинство из крупных богачей и знати, срединное большинство из буржуазных состоятельных семейств, а на дне кучка лиц вроде меня: дети священников, чиновников колоний, вдов со скромной пенсией за покойного мужа и т. п. Бедноту держали вдали от интересных «добавочных занятий» типа стрельбы или столярки, унижали по части костюма, белья, владения всякими предметами. Мне, например, так и не пришлось занять собственную крикетную битку – «твои родители не могут себе этого позволить» (реплика, язвившая меня на протяжении всех школьных лет). В Киприане нельзя было оставлять при себе взятые из дома деньги, их сразу по приезде следовало сдать, а потом разрешалось понемногу брать и тратить под надзором педагогов. Мне и ученикам подобного разряда всегда препятствовали в покупках какой-нибудь модели самолета или иной дорогой игрушки, даже если личный кредит позволял. Флип вообще настойчиво стремилась привить нам на будущее подобающую беднякам скромность запросов: «Ты уверен, что такому, как ты, мальчику необходима эта вещь?» Помню, как она внушала одному из нас – выговаривала перед всей школой: «Не пора ли внимательнее обращаться с деньгами? Семья у тебя небогатая. Ты должен тратить разумно, не заноситься!» У Флип было четко расписано, кому и сколько выдавать еженедельно на карманные расходы, позволявшие ученикам побаловать себя сладостями. Миллионщикам вручалось по шесть пенсов, остальным ребятам – по три, лишь мне и еще нескольким – всего по два. Мои родители об этом не просили, расход в лишний пенс, я полагаю, их не разорил бы, – это была метка статуса. Однако горше всего дело обстояло с праздничным тортом. Каждому мальчику в день рождения преподносился огромный кремовый торт со свечами. Лакомились все участники общего чаепития, стоимость пиршества приплюсовывалась к счету за учебу. И на такой расход мои родители пошли бы довольно легко, но меня школьным тортом не поздравляли. И год за годом, не решаясь выяснить вопрос, я продолжал отчаянно надеяться, что торт мне будет. Пару раз даже сторяча объявлял соученикам насчет предстоящего угощения. Потом наступал час пить чай – и чай был, а вот торта не было, что не добавило мне популярности.

Очень рано меня придавили мыслью, что нет никаких шансов на достойное будущее, если я не выиграю стипендию колледжа. Либо получу стипендию, либо с четырнадцати лет стану, как говаривал Самбо, «нищей конторской шушерой». При той моей ситуации не поверить было невозможно. В Киприане само собой разумелось, что, не попав в «хороший» колледж (а таковыми признавались лишь десятка полтора), ты губишь себя навсегда. Взрослым людям не объяснить терзавшее подростка нервное напряжение в ожидании какой-то страшной судьбоносной битвы, а дата боя приближалась – тебе двенадцатый год, уже тринадцатый, и вот

уже пошел четырнадцатый, роковой! На протяжении двух лет дня не было, чтобы «экза́м» (так назывался у нас конкурсный экзамен) не грыз мне душу. Он неизменно присутствовал в моих молитвах, и если в порции курятины мне доставалась дужка грудной косточки или я находил подкову, или отбивал семь поклонов новой луне, или проскальзывал через калитку, не коснувшись боковых столбиков, – всякая заработанная удача отдавалась «экза́му». Но, странным образом, одновременно мучили припадки неодолимой лени. Нахлынет тоска от дальнейших трудов, и вдруг упрешься, тупой как баран, перед простейшим переводом. К тому же я совершенно не мог работать на каникулах. Дабы возможные стипендиаты не расслабились, нас и дома, по почте поощряли заданиями от некоего мистера Бэчлора, обросшего бородой и шевелюрой симпатяги, который носил ворсистые пиджаки и жил где-то в городе в типичном холостяцком логове (по стенам сплошь полки с книгами и все насквозь прокурено). В каникулярное время мистер Бэчлор раз в неделю присылал нам пачки текстов. Но у меня как-то не ладилось. Чистые листы и черный латинский словарь лежали на столе, сознание невыполненного долга отравляло дни отдыха от школы, но никак было не приступить, и к концу каникул я отправлял мистеру Бэчлору всего полсотни-сотню строк. Несомненно, тут способствовала удаленность от Самбо с его тростью. Однако и на школьных занятиях временами я охотно поддавался приступам лени и тупости – мне именно хотелось впасть в немилость, я даже ее добивался невнятной плаксивой строптивостью, всецело сознавая себя грешником, но неспособным или нежелающим (в этом поди-ка разберись) исправиться. Тогда следовал вызов к Самбо или Флип, и отнюдь не для порки.

Флип впереялась в меня своими зловещими глазами. (Какого, кстати, цвета были эти глаза? Мне помнятся «зеленые», но не бывает у людей зеленых глаз. Вероятно, они были просто карими.)

– Ужасно мило ты себя ведешь, не правда ли? Ну разве не отличная игра с родителями – лентяйничать здесь день за днем, месяц за месяцем? Ты хочешь растерять все свои шансы? А ты ведь знаешь, что родители не богачи, они не могут себе позволить того же, что в других семьях. Как им отправить тебя в колледж, если ты не выиграешь стипендию? А твоя мама так гордится тобой! Хочешь ее огорчить?

– По-моему, он не намерен учиться дальше, – вступал Самбо, обращаясь к Флип и как бы не замечая моего присутствия. – По-моему, он бросил об этом думать. Решил стать нищей конторской шушерой!

У меня уже теснило в груди, щипало в носу, подкатывались слезы. Флип выкладывала козыри:

– И ты считаешь, справедливо так поступать с нами? После всего для тебя сделанного? А ты ведь знаешь, сколько мы для тебя сделали, ты знаешь, правда? – Глаза ее сверлили меня, и, хотя она не говорила напрямик, я знал. – Тебя держали в школе столько лет, тебя учили, даже в каникулы с тобой занимался мистер Бэчлор. Нам не хотелось бы тебя отчислить, но мы не можем держать в школе мальчика, который семестр за семестром только питается в нашей столовой. Не думаю, что ты пошел верной тропой. Как тебе кажется?

На все вопросы я умел лишь мямлить «да, мдэм», «нет, мдэм». С очевидностью представало, что тропа, которой я пошел, была неверной. И копившиеся слезы неудержимо брызгали, и кап-кап по щекам...

Флип никогда прямо не называла меня нахлебником, но все эти туманные «мы столько для тебя сделали» просто душу вытягивали. Самбо, не рвавшийся завоевать симпатию учеников, говорил жестче, хотя со свойственной ему высокопарностью. Излюбленная его фраза в данном контексте: «Не впрок тебе мои щедроты!» Приходилось слышать эту сентенцию и в такт свистевшим ударам трости. Должен сказать, подобные беседы велись со мной нечасто и лишь единожды в присутствии других ребят. Публично мне напомнили, что мои бедные родители «не могут себе позволить», когда уже не оставалось других дисциплинарных мер.

Последний решающий аргумент был применен как орудие казни, когда я впрямь разлеился до крайности.

Чтобы понять силу воздействия эдаких пыток на ребенка чуть старше десяти, надо учесть, что у подростка еще не развито чувство соразмерности, сообразности. У него может быть в избытке эгоизма и бунтарства, но не накоплен опыт для уверенных собственных выводов. В целом он примет то, что ему сказано, поверит самым фантастичным представлениям о знаниях и правах окружающих взрослых. Вот пример. Я упоминал, что в Киприане не разрешалось держать свои деньги при себе. Однако все же удавалось утаить пару шиллингов, и порой я украдкой тешил себя покупкой сладостей, которые прятал в листьях плюща у стены игровой площадки. Посланный как-то с поручением в город, я навестил кондитерскую лавку в миле от школы и купил кулек конфет. Уже на выходе мне бросился в глаза хитроватого вида мужичок, стоявший напротив лавки и чересчур уж пристально глядевший на мою школьную фуражку. Меня продрало ужасом. Сомнений не возникло, кто это – подсланный Самбо шпион! Изображая безразличие, я отвернулся, а затем, словно ноги сами понесли, кинулся, спотыкаясь, прочь. Забежав за угол, я принудил себя идти шагом: бег обличал во мне преступника, а ведь шпионы, разумеется, шныряли по всему городу. До самой ночи и назавтра я ждал вызова на допрос, был весьма удивлен, что за мной не пришли. Ничуть не показалось странным, что в распоряжении директора частной школы армия информаторов, притом, конечно же, бесплатных. Мне думалось, любой взрослый из школы и вне ее готов трудиться добровольно, выслеживая юных правонарушителей. Самбо всесилен – у него, естественно, везде агенты. А в этом эпизоде мне было уже никак не меньше двенадцати лет.

Я ненавидел Флип и Самбо какой-то стыдящейся, мучившей мою совесть ненавистью, но в голову не приходило усомниться в их вердиктах. Раз они говорили, что или стипендия колледжа, или судьба нищей конторской шушеры, стало быть, только так – и не иначе. А главное, я верил их словам о безмерных благодеяниях. Теперь-то ясно, что в глазах Самбо я был неплохим бизнесом. Директор вложил в меня деньги и алчно ждал дивидендов в виде престижа. Если бы я вдруг «спекся», как случилось с перспективными пареньками, воображаю, сколь решительно меня бы вышибли. Когда в положенное время я смог-таки добыть стипендии, Самбо наверняка использовал сей факт в своей рекламе на полную катушку.

Детям не осознать, что школа – это в первую очередь предприятие коммерческое. Ребенок полагает целью школы обучение и делит строгих педагогов на воспитателей доброжелательных или глумливых. Самбо и Флип желали мне добра, и пусть их доброе отношение ко мне включало порку, унижение, упреки – все это было мне во благо, спасая от затхлой конторы. Такую версию мне предложили, я уверовал. И значит, долг требовал неустанно благодарить учителей. Но не испытывал я к Флип и Самбо благодарности. Напротив, страшно ненавидел их обоих. Ни контролировать свои эмоции, ни спрятать чувства от себя я был не в силах. А это ведь великий грех – возненавидеть благодетелей? Так мне внушали, так верил я сам. Даже бунтующий ребенок признает моральный кодекс, представленный ему старшими. С восьмилетнего возраста, если не раньше, сознание грешности всегда витало рядом. Попытки выказать бесчувственное непокорство тонкой пленкой прикрывали бездну смятения и стыда. Сквозь все детские годы я пронес убеждение в том, что плох, что даром трачу время, гублю свои способности, что чудовищно туп, злобен, неблагодарен – и беспросветно, ибо жить мне довелось среди законов абсолютных, как закон всемирного тяготения, но с личной невозможностью им соответствовать.

### 3

Ни одно из стремящихся к правдивости воспоминаний о школьном детстве не окажется абсолютно черным.

В массе моих мрачных впечатлений от лет в Киприане помнится кое-что светлое. Бывали летом после полудня чудесные походы через дюны к деревьям Берлинг-Гап, Бичи-Хэд, когда ты купался на каменистом морском мелководье и возвращался, покрытый ссадинами. Еще чудесней были вечера, когда в самую жаркую летнюю пору нас ради целительной прохлады не загоняли спать в обычный час, а позволяли бродить по саду до поздних сумерек и напоследок перед сном нырнуть в бассейн. А еще радость летом проснуться до пробуждения – комната залита солнцем, все спят – и часок без помехи почитать любимых авторов (у меня это были Йен Хэй, Теккерей, Киплинг, Уэллс...). А еще крикет, совершенно мне не дававшийся, но лет до восемнадцати страстно и безответно мной обожаемый. А еще удовольствие держать у себя красивых гусениц: шелковистая зеленовато-пурпурная гарпия, прозрачно-зеленый тополевый бражник, сиреневый бражник размером со средний палец – отличные экземпляры можно было нелегально приобрести на шестипенсовик в городской лавочке. Или восторг вылавливания из мутного прудика в дюнах громадных желтобрюхих тритонов, если повезет временно сбежать от педагога, который «вывел на прогулку». Обычное дело на этих школьных прогулках: только обнаружишь что-то занятное, тебя с криком отдергивают, будто пса на поводке, что формирует у многих детей стойкое убеждение в недостижимости того, чего хотелось бы больше всего на свете.

Крайне редко, может, лишь разок за лето, удавалось вообще вырваться из казарменной атмосферы школы, когда Брауну, рядовому преподавателю, разрешали взять с собой в поход пару мальчишек, жаждавших поохотиться на бабочек. Седой, с лицом, похожим на спелую землянику, Браун замечательно учил естествознанию, сооружая модели и макеты, используя волшебный фонарь и прочее в том же роде. Из всех взрослых, как-либо связанных со школой, только он и мистер Бэчлор не вызывали у меня страха или неприязни. Однажды Браун в своей комнате по секрету показал мне хранившийся в коробке у него под кроватью револьвер с перламутровой рукояткой («шестизарядный», как он пояснил). О, счастье тех редчайших экспедиций! Поездом по узкоколейке за две-три мили, день беготни туда-сюда с большими зелеными сачками, прелесть парящей над травой огромной стрекозы, острый запах дурманящего яда из аптечного пузырька, а к вечеру в зале паба чай с щедрыми ломтями бледного сливочного торта! Суть наслаждения составляла железнодорожная поездка, магически перемещавшая тебя в мир по ту сторону от школы.

Флип, что характерно, не одобряла этих, хотя и дозволяемых, экспедиций. «Собрался малыш крошек-бабочек ловить?» – издевательски пищала она нарочито детским голоском. Интерес к природе (на ее языке, вероятно, «страсть к букашкам») она полагала ребячеством, для подростка смешным и нелепым. Кроме того, здесь чудилось нечто презренное, вызывавшее ассоциации с неуклюжими в спорте очкариками, и это было бесполезно для конкурсных экзаменов, даже вредно, ибо имело привкус точных наук, угрожавших классическому образованию. Флип требовалось немало пересилить себя, чтобы согласиться с предложенной Брауном поездкой. И как я боялся издевок насчет «крошек-бабочек»! Однако Браун, работавший в школе от ее основания и завоевавший себе определенную независимость, с владыкой Самбо был на коротком, а на Флип обращал мало внимания. Если случалось обоим руководителям уехать, он замещал директора и вместо утреннего чтения в церкви текстов из Библии читал нам истории из апокрифов.

Большинство моих приятных воспоминаний о детстве и юности так или иначе связано с животными. И что касается лет пребывания в Киприане, все хорошее видится непременно в летнюю пору. Зимой вечно течет из носа, окоченевшими пальцами не застегнуть пуговицы на рубашке (особенная мука по воскресеньям, когда надо нацеплять «итонский» широкий крахмальный воротник) и ежедневный футбольный кошмар – холод, слякоть, облепленный грязью сальный мяч прямо в лицо, избитые коленки, пинающие бутсы старшеклассников. Беда была еще в том, что в зимнее (по крайней мере – учебное) время мне почти постоянно нездорово

вилось. Много лет спустя выяснилось, что с бронхами был не порядок и одно легкое повреждено. Не только хронический кашель донимал, но бегать было невмоготу. В те годы, однако, «одышливость» или «грудную слабость», как тогда называлось, к болезням не причисляли, полагая изъязном не физическим, а моральным, возникающим вследствие обжорства. «Сипишь как старая гармонь, – ворчал Самбо, стоя за моим стулом. – Живот чересчур набиваешь, вот что!» Кашель мой именовали «желудочным», что звучало гадко и предосудительно. Лекарством предлагался бег, который при хорошем темпе и достаточно длинной дистанции отлично «прочищает грудь».

Не говоря о главных тяготах, любопытна степень бытовой скудости и запущенности, повсеместно присущих тогдашним дорогим частным школам. Почти как во времена Теккерера считалось нормальным, что маленький ученик – это жалкий сопливец: лицо чумазое, руки потрескались, ногти обгрызены, в кармане жуткая мокрая мерзость (бывший носовой платок) и зад, частенько синий от побоев. В последние дни каникул ложившийся на сердце груз утяжелялся свинцовой тоской от перспективы школьного обихода. Характерное воспоминание о Киприане – поразившая на первом тамошнем ночлеге жесткость матраса, будто набитого камнями. Попав в столь дорогую школу, я поднялся по социальной лестнице, но уровень комфорта в Киприане был много ниже, чем у нас в доме и даже в домах зажиточных пролетарских семейств. Ни до, ни после мне не доводилось видеть бутербродов с таким прозрачным слоем масла или джема. Может, мне кажется, что мы недоедали, однако помнится, как далеко нас заводила страсть воровать еду. Помню себя крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, на каждом шагу останавливаясь и обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями, привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба. Рядовые учителя столовались вместе с нами, но еда у них была получше, и мы не упускали шанса подтибрить с их грязных тарелок корочки ветчины, остатки жареной картошки.

Как и во всем ином, я не увидел тут коммерческих расчетов. В целом мнение Самбо о патологическом и требующем укрощения аппетита растущих мальчишек я принимал. Нам часто повторялась сентенция насчет того, что здоров тот, кто встает из-за стола таким же голодным, как садился. Всего лишь поколением раньше было в обычае перед обедом потчевать школяров порцией пресного пудинга с почечным салом, откровенно ставя целью «перебить аппетит». Вероятно, в государственных школах с официально установленным ученическим рационом недокорм был менее вопиющим, нежели в дорогих частных интернатах, где руководство позволяло (и явно предполагало) покупку учениками дополнительной снеди. В некоторых заведениях буквально нельзя было наесться досыта, если самому себе регулярно не покупать яиц, сардин, сосисок и прочего – и если, разумеется, иметь на это деньги от родителей. Не знаю, как в школе Итона, но в Итонском колледже, к примеру, воспитанники после полуденной трапезы плотной еды уже не получали. Только чаепитие, а на убогий ужин иногда суп, иногда жареная рыба, чаще же просто хлеб с сыром и стакан воды. Съездив повидать в Итоне старшего сына, Самбо вернулся, полный снобистского экстаза от роскошного житья студентов: «У них на ужин жареная рыба! – захлебывался он, сияя щекастой физиономией. – Где в мире юношество может получить подобное?» Ха, жареная рыба! Стандартный ужин в беднейших рабочих семьях. Ситуация с кормлением в дешевых частных интернатах была, конечно, еще хуже. Из глубин очень ранней моей памяти всплывает картинка: за столом в приготовительной школе сидят ребята (наверное, дети лавочников или фермеров) и едят вареные потроха.

Пишущему о своем детстве следует остерегаться преувеличений и жалости к себе. Не утверждаю, что я был страдальцем, что Киприан был копией Дотбойс-Холла<sup>10</sup>. Но я солгал бы, не сказав об отвращении, заметной долей присутствовавшем в моих чувствах. Многое в нашей

<sup>10</sup> Отвратительно жестокая частная школа в романе Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никльби».

несытной школьной жизни вспоминается с физической брезгливостью. Стоит, закрыв глаза, шепнуть себе «школа», и сразу передо мной плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры, асфальтовая площадка перед главным зданием и позади него молельня из грубых, занозистых сосновых досок. И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт. Без предварительного исследования приступить к поеданию овсянки было опасно. А гнусоватая вода в бассейне длиной футов пятнадцать – в нем по утрам плескалась вся школа, и сомневаюсь, что воду там меняли очень часто. А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром, а редкие зимние визиты в местную баню, куда мутную морскую воду накачивали прямо с пляжа, возле кромки которого я как-то видел плавающее на волнах человеческое дерьмо. А запах пота в раздевалке возле не вычищенных от солевой грязи ванн, уступающих разве что шеренге обшарпанных туалетных кабинок с дверями без каких-либо задвижек, так что, едва сядешь, кто-нибудь к тебе непременно вломится. Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шиба нуло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, грязных полотенец, достаточно ощутимо веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с окаменевшими, навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу. И грохот дверей в уборных, и дребезжание дортуарных ночных горшков.

Это правда, что я существо не стадное, а такие стороны жизни, как клозет или сопливый носовой платок, особенно навязчивы, когда множество людей толчется на небольшом пространстве. Так же плохо в армии и еще хуже, без сомнения, в тюрьме. К тому же отрочество – возраст нетерпимости. Пока не научишься различать, не закалишься (процесс этот у человека, говорят, идет лет с семи до восемнадцати), все кажется, что ходишь по канату над выгребной ямой. Но вряд ли я сгущаю краски, вспоминая пренебрежение, с каким в школе относились к здоровью и гигиене, несмотря на о-го-го! по поводу свежего воздуха, холодных обливаний и спортивного тренажа. Обычным делом были многодневные запоры у школьников. Трудно ведь вдохновиться на очистку кишечника, если слабительным предлагается касторовое масло либо почти столь же ужасный лакричный порошок. Или вот бассейн. Нырять в него нам полагалось каждое утро, но некоторые из ребят увивали чуть не по неделе, просто скрываясь, когда колокольчик звал купаться, или ловко таясь за спинами толпящихся у края бассейна, а затем смачивая волосы грязной водой с пола. Ребенок восьми-девяти лет не всегда будет держать себя в чистоте, если за ним не присматривать. Незадолго до моего окончания школы у нас появился новичок по фамилии Хэйзл, хорошенький мамочкин любимчик, и первое, что мне бросилось в глаза, – жемчужная белизна его зубов. К концу семестра эти жемчужины приобрели невероятный оттенок зелени. Видно, за все время никто не удосужился проследить, чистит ли мальчик зубы.

Но, конечно, разница между домом и школой была гораздо больше ощущений чисто физических. Удар, в первую же ночь нанесенный мне школьным каменным матрасом, сотряс чувства, ясно и грозно сообщив: «Вот где тебе теперь придется выживать!» Родной дом может быть весьма далек от совершенства, однако там все же правит любовь, а не страх, вынуждающий держаться в постоянном опасливом напряжении. В восемь лет тебя вдруг вытряхнули из теплого гнезда, швырнув в мир силы, лжи и тайны, как золотую рыбку в цистерну с щуками. Против издевательств любого рода у тебя никакого оружия. Единственный способ защиты – ябедничать, что за исключением нескольких четко установленных случаев непростительная подлость. А написать домой и попросить забрать тебя – вообще немислимо, ибо это означало бы признать себя жалким и не имеющим успеха, а на это мальчишка пойти не может. Юные

жители страны Едгин<sup>11</sup> полагали несчастье позором, который надо всячески скрывать. Возможно, в школе было допустимо пожаловаться родителям на скверное питание, незаслуженную порку или иную жестокость со стороны учителей (но не товарищей!). Тот факт, что Самбо никогда не порол богатых учеников, свидетельствует о наличии подобных жалоб. Но в моих специфических обстоятельствах я ни за что не обратился бы к родителям. Задолго до того как я сообразил насчет льготного тарифа, мне было понятно, что отец с матерью чем-то обязаны директору, а стало быть, им невозможно меня от него защитить. Я уже говорил, что в Киприане у меня не было собственной крикетной биты по причине «твои родители не могут себе этого позволить». Однажды на каникулах благодаря брошенному вскользь замечанию выяснилось, что десять шиллингов для покупки биты мои родители директору дали. Тем не менее заветной биты я в школе не получил. И ни слова не сказал об этом дома и уж конечно не предъявил претензий Самбо. Как я мог? Я жил на его иждивении, и десять шиллингов были каплей в море моего неоплатного долга. Теперь я полагаю крайне маловероятным, что директор присвоил мои деньги, – наверняка просто запамятовал эту мелочь. Но я-то тогда считал, что сумма им присвоена и что он, коли захотелось, имел право так поступить.

Насколько трудна для детей личная независимость, демонстрирует наше поведение с Флип. Думаю, справедливо будет сказать, что каждый из воспитанников ее ненавидел и боялся. Однако все мы перед ней заискивали самым презренным образом, изошряясь в выражении какой-то страдательной преданности. Хотя школьная дисциплина зависела от нее больше, чем от Самбо, Флип даже не играла в неукоснительную справедливость. Она была откровенно капризна. Сегодня за некое деяние она назначит тебе порку, а завтра в связи с тем же преступлением лишь посмеется над детской шалостью или даже похвалит: «Каков храбрец!» Бывали дни, когда все холодели от ее словно глядевших из пещеры обвиняющих глаз, а то вдруг явится жеманной королевой в окружении придворных кавалеров, шутит, щедро рассыпает дары или обещания даров («выиграешь премию Харроу по истории, куплю тебе футляр для фотокамеры!»). Иной раз даже посадит любимцев в свой «Форд» и свозит их в городское кафе, где дозволит угоститься кофе с пирожными. Флип у меня в голове как-то сливалась с образом королевы Елизаветы, о чьих романах с Лестером, Эссексом и Рэйли я был оповещен уже в раннем возрасте. Самым популярным словом в разговорах о Флип у нас звучал «фавор» – «я сейчас в фаворе», «нынче я не в фаворе». За исключением горстки мальчиков, являвшихся или числившихся богачами, в постоянном фаворе никто не пребывал, но, с другой стороны, и самые последние изгои имели шанс время от времени там оказаться. Так, при том что мои воспоминания о Флип в основном неприязненны, помнятся долгие периоды, когда и я купался в лучах ее улыбок, когда она называла меня «старина» и по имени и разрешала брать книги из ее личной библиотеки, благодаря чему я впервые прочел «Ярмарку тщеславия»<sup>12</sup>. Высшим уровнем фавора бывало приглашение служить у стола на воскресных ужинах Флип и Самбо. Тут, конечно, тебе светило, убирая посуду, поживиться остатками с тарелок, но прежде всего холуйское счастье вытянуться за стульями гостей и почтительно кидаться вперед, если гость чего-нибудь пожелает. Всякий, имевший возможность лебезить, лебезил, и от первой улыбки ненависть превращалась в раболепное обожание. Я всегда бывал чрезвычайно горд, когда мне удавалось заставить Флип рассмеяться. Я даже по ее велению писал дежурные шуточные стихи к знаменательным событиям школьной жизни.

Хочу прояснить и подчеркнуть – я не был бунтарем, только если силою обстоятельств. Я принял кодекс бытия. Настолько, что однажды, под конец моей учебы в Киприане, явился к Брауну с секретным донесением об эпизоде, подозрительно намекавшем на гомосексуализм.

<sup>11</sup> «Едгин» (в оригинале «Erewhon») – представляющее анаграмму слова «нигде» название сатирической утопии Сэмюэля Батлера. В фантастической стране Едгин, пародии на викторианскую Англию, преступно было оказаться больным или несчастным.

<sup>12</sup> Роман У. Теккеря.

Насчет гомосексуализма я был весьма несведущ, но я знал, что эпизод произошел, что это плохо и что здесь именно та ситуация, в которой донести правильно. Одобрительное учительское «молодчина!» вогнало в жуткий стыд.

Перед Флип ты оказывался беспомощно податливым, как змея перед заклинателем змей. В ее довольно однообразной лексике имелся целый набор хвалебных и порицающих фраз, точно рассчитанных на определенную реакцию. «Вперед, парень!» – и шквал энтузиазма взмывал до небес. Или «не строй из себя дурачка!» (вариант: «как трогательно, правда?») – и полное ощущение себя дебилом. Или «не слишком-то это справедливо с твоей стороны, скажи?» – и к глазам подступали слезы. И все же, все же в глубине души таилась неизменная твоя сущность, знавшая правду о тебе – хихикал ты или хныкал, или трепетал от благодарности за скудную милость, единственным подлинным чувством была ненависть.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.